

Вадим Чирков

Мои одесситы

Памяти Ефима Ярошевского

Пророк с продранными локтями



Ефим Ярошевский

Тогда он называл себя «про-роком с продранными локтями» (впрочем, произносил он это и ради рокота, который у него здорово получался).

«Мой гуру, – писал я о нем несколько позже, – великолепной лепки голова, длинные черные волосы, зачесанные назад, острый, как бритва (сказал один художник), нос, запекшиеся губы оратора («горлана, главаря»: он был влюблен тогда в Маяковского, завидуя «поэтическим мускулам» того и его напору, ну и «Разговору двух судов на одесском рейде», конечно...). Взгляд – сверху (он высокого роста), быстрый, как бы искоса, внимательно-прон-

зительный, словно бы именно в этот момент увидевший в собеседнике главное...

Он лежит на деревянном топчане в нашей махонькой комнатке (я сказал «топчане», но хочется сказать «оттоманке»), лежит, подперев великолепную голову худой темной с длинными паль-

цами рукой и время от времени проверяюще на меня взглядывая, рассказывает:

– ...Это было лицо, хорошо выдержанное в утреннем зеркале, готовое к предстоящему дню – лицо красивой женщины...

Наша комнатка, чуть ли не из фанеры комнатка с двумя топчанами и тощими матрацами на них находилась в пионерском лагере на тринадцатой станции Фонтана, здесь мы и познакомились. Я, студент педина, вчерашний матрос, подрабатывал летом в должности «инструктора по плаванию», он пришел сюда наниматься на работу воспитателем.

– ...Я задержал глаза на ее лице, не скрывая, что люблюсь им, – и эта первая за утро мужская дань была замечена и взята...

Мне нужен был собеседник, ему же нужна была «аудитория», и он нашел ее во мне, чьи способности в то время выражались в умении слушать и слушать: я от своих сверстников, оставшихся на «гражданке», изрядно во всем за четыре года флота поотстал.

На целый месяц я стал этой «аудиторией» Ефима, единственным его слушателем. Свои рассказы он перемежал чтением стихов, читал их вдохновенно, мастерски, то придавливая меня бронзовым гудением: «Опускайся, южной ночи гнет», то отзываясь на чью-то строчку внутренним звоном: «По рыбам, по звездам пронесит шаланду...». Иные он просто пел высоким голосом: «Дверь, настезь дверь! Качается снаружи обглоданная звездами листва, дымится месяц посредине лужи...».

– Почему по звездам? – сердился я. – И как это листва может быть «обглодана звездами»?

Он, глянув на меня искоса и что-то для себя мгновенно уяснив, объяснял. Я слушал его молча, только глазами показывая, что я понял. Он же ронял (рокоचा) непонятное: «Рано... рано...».

А тот рассказ продолжался:

– Для троллейбуса она была слишком хорошо одета, она была даже в тонких черных перчатках, несмотря на лето, и я подумал, что, скорее всего, шофер ее благополучного мужа внезапно заболел или машина сломалась у порога ее дома. Глаза мои были слишком откровенны, они требовали (просили скорее) хоть какого-то ответа...

Из всего, о чем он мне в то лето рассказывал, понятны мне были только его рассказы о встречах с женщинами. «Встречи» начиналось со взглядов, ими же через несколько минут все заканчивалось. Был только обмен взглядами, ну и, разумеется, то, что он (и, может быть, она) при этом испытали, какое обещание он получил взамен на свою мольбу... и этого моему гуру было вполне достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. У его встреч никакого продолжения не было. Таким образом, его рассказы повисали в воздухе, как воздушные шары. На грешную землю они не опускались.

Кажется, он тут же переводил испытанные при встречах чувства в строчки, и строчки становились его достоянием, как, к примеру, донжуанский список ловеласа.

...Ночью мы идем с Ефимом к морю. Это за городом – там, где собственные дома, дачи, сады. Над морем яркая круглая луна. Она освещает узкую улочку, по которой мы бредем, не разбирая дороги, кусты цветущей сирени над калитками. Сквозь черную листву серебряно светятся крыши.

Все сказочно, все полно значения, все, что мы видим, неоднозначно. И – вторично. Сирень не назовешь просто сиренью, ибо это сирень Врубеля, ибо это «глубокий обморок сирени» Мандельштама, ибо это «соски сирени» Заболоцкого, в самом деле – гроздь ее тяжелы, округлы, душисты...

Что же еще, что же еще нового можно сказать о сирени?

Молочно светящаяся табличка на калитке, полускрытая кустами цементная дорожка к дому, свет настольной лампы из-за шторы, крадущееся к луне хищного облика облако – все это только части того цельного и огромного, что называется майской ночью у моря, когда светит полная луна.

На море лежит лунная дорожка.

Дорожка, похоже, выложена живой трепещущей рыбой. Нет, это мост! Длинный – до самого ночного горизонта, где под луной лежит светлая площадка, – висячий мост, сверкающий золотом и звенящий серебром, сказочный мост, выстроенный, как известно из русских сказок, за одну только ночь.

«Вот тебе твой мост, – сказал Иван-дурак царю, показывая на лунную дорожку, – вот тебе заказанный тобою мост, – сказал Иван-дурак-поэт».

Мы стоим высоко над морем: берег внизу и вдали, к нему ведет тонущая в темноте деревянная лестница.

Здесь все сотворено из двух изначальных материалов – Тьмы и Света. Наверно, бог-художник, сказав: «Да будет свет!» – вызвал сначала из небытия луну и, вдоволь налюбовавшись Первым Пейзажем, пригласил в дневные светила солнце.

Мы стоим очарованные, подавленные храмово величественным зрелищем, мы искоса поглядываем друг на друга и боимся произнести хоть слово – найди-ка его, соразмерное тому, что мы видим!

В горле моего гуру начинает клокотать, но он не выпускает рвущихся наружу слов. Он судорожно хватается ртом воздух, извиваясь даже, чтобы помочь вдоху, забрасывает голову, стонет...

Луна сияет, как новая монета, она кажется звонкой, как щит, луна светит, как прожектор, луна висит над морем, как часы, под которыми принято назначать свидание...

Мой гуру бормочет, прикашливая:

– Луна... полночная луна... Когда... – и неожиданно, словно что-то или кого-то услышав, замирает. Слушает, запрокинув голову... Потом поднимает руку, поворачивается ко мне. Гордый, вознесшийся надо мной, как памятник, – профиль его врезан в луну, – выждав паузу, чтобы аудитория настроилась, произносит:

Когда над Черным морем полночь
Пробьет торжественно луна,
Я призову тебя на помощь,
Тебя, эвксинская волна.

– Из темноты, из первородства, – он показывает рукой в темь моря, – Накатит первая строка,

Ни с кем не знающая сходства,
И вздрогнет чуткая рука
Поэта...

Там, где пушкинское многоточие, было некое та-та-та, некий, вернее, гул, заменявший слоги еще не найденных слов.

– Кто это? – взволнованно спрашиваю я. – Это...

– Это я! – гордо отвечает мой гуру. И, сойдя с пьедестала, делает торжественный приглашающий жест к лестнице, к берегу моря, к волне.

Мы спускаемся по ней и на первой же площадке на скамейке находим – как подарок, как приз, как приношение – початую бутылку шампанского и букет махровых гвоздик!

– А?! – победоносно оборачивается ко мне Ефим – он словно знал, что внизу нас ожидает шампанское.

– Да, – соглашаюсь я, из осторожности все же нюхая вино, – да, да...

Стихотворение заносится при лунном свете в блокнот. Мы делим пополам букет и, отпивая глоток за глотком шампанское, долго слушаем доносящий снизу накат прибойной волны. Ефим повторяет стихотворение, пробуя строку этак и так:

Из бесконечности, из мрака...

То стихотворение, насколько я знаю, так и не было дописано, а недостающее слово не было найдено. Первоначальный его смысл затерялся в вариантах, написанных потом...

Не знаю, что тому виной. Может, сам город, где лучше всего думается, сочиняется на улицах и вдвоем, где так трудно усидеть дома, слыша за окном шумящую, поющую, зовущую к себе жизнь? Радость, ожидающая тебя за дверью, кажется заманчивей и ближе, чем радость от рождения следующей строчки, и ты бросаешь перо...

Богема

А собиралась богема у Игоря Павлова, впоследствии названного Первым поэтом Одессы, – дворик напротив выхода с Привоза (здесь начиналась Молдаванка), комната с черным потолком, пишущая машинка у окна, в которой я никогда

не видел бумажного листа, продавленный до пола диван, стол, накрытый... нет, не то слово! На столе стояли: тарелка с кружочками дешевой колбасы, может быть, сыром, тарелка с нарезанными помидорами, граненые стаканы и бутылка-другая молдавского «Вин де масе».

Комната была перегорожена шкафом, за шкафом скрывалась на своей лежанке от шумных, произносящих одно за другим диких имен и неслыханных строчки гостей мама Игоря Валентина Ивановна.

– В сухой реке пустой челнок плывет... – могло доноситься до нее...

Круги тогдашней богемы были разные. Один, например актеры и художники, тусовался в баре ресторана «Красный» за рюмкой коньяка и чашкой черного кофе и у дамы сердца художника Олега Соколова, «где бывал и я».

О круге Игоря Павлова Даня Шац – о нем пойдет речь дальше, – выпивавший свою чашку кофе в баре, может, и знал, но бывать в его берлоге никогда не бывал. Даня дружил тогда с молодым поэтом Борей Нечердой, а тот, бездомный – пока не прославился и не получил квартиру – преломлял хлеб в подвале банка на Пушкинской – большое помещение с низким потолком, с зарешеченным окном, выходящим на тротуар, сыроватое помещение, которое сердобольным руководством банка было отдано больной полиомиелитом своей сотруднице, молоденькой и миловидной Нине Р. (передвигалась она на коляске). С ней-то и жил тогда в подвале Боря Нечерда. И гостеприимный их стол, стол андерграунда, собрал свою компанию.

Боря Нечерда писал тогда на русском, подражая гремевшему на всю страну Андрею Вознесенскому, но, «сам собі пан», уже пытался выбиться из-под его влияния. Потом он перешел на родной ему украинский. Я помню и русские его стихи (начала):

Бродяжничаю,
Сею смуту,
Начинаюсь, как вёсны...

и украинские:

Одвересніло,
Тиша з тиш...
Яка врочистість соборова!..

К Нечерде из Киева и из других городов приезжали – так у них водится – поэты, попадали в подвал; украинские стихотворцы уединялись в каком-то углу и вели там свои долгие, не слышные другим разговоры. Как-то спустился в подвал и харьковчанин Борис Чичибабин...

Заслышав об этом «огоньке», заглянул в подвал (спустился с небес, на коих обычно пребывал; клочок облака все еще цеплялся за шляпу) мой первый гуру, Ефим, «пророк». Вошел, высоченный, наклонив голову из-за низкого потолка, сделал один-другой метровый шаг к столу... Прислушался к разговору, дал свою оценку, хмыкнул... У Ефима был свой круг, проверенный, с надышанной атмосферой.

Полупомешанные хиппи
По бедности немногих лет
Просили на духовный хлеб...
Я мог бы дать. Но где мне взять
На всех?

На столе в подвале банка были то же «вино в массы», та же дешевая колбаса – но какие разговоры блистали за столом! Филфаки одесского университета и педина могли бы им позавидовать. И приводимым строчкам чтимых поэтов («Баба я – вот и вся провинность, государства мои в устах...»), и убийственным оценкам нечтимых, и новым стихам, свежим, как только что вынутый из печи хлеб:

Пролітала над хатами ворона,
Зачепилась крильми за віршовку,
Впала сіромаха коло млину,
Та й співає таку кломиюку:

– Бийте в тулумбаси, бийте,
Бийте у літаври, не бійтесь,
З кого соловейка не вийде,
Вийде хоч ворона біла...

Дальше не помню, зато помню, как возникло это стихотворение. Мы шли с Борисом по улице, и я пересказывал ему мысль Бунина: «...в России на десять тысяч пишущих стихи всего лишь два настоящих поэта...».

А наутро, когда мы снова встретились, Нечерда прочитал мне «Білу ворону».

В то время всеми смотрелась «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, прекрасно, по-моему, сделанный вестерн, мы разыгрывали сцены из фильма: Шац, сидя на полу у стены «с кольцом» в руке, кричал, картавя:

– Къис!

И «Къис» знаменитой походкой Юла Бриннера (Юлом был, как правило, я, спортивный парень) измерял по диагонали низкое помещение банковского подвала, шагал, навесив руку над «кобурой»...

А еще – Боря в легком подпитии вызывал меня побороться. Я его, конечно, укладывал, а он – сухощавый, жилистый, ловкий, привыкший, видимо, к победам в молодецком единоборье, но с серьезным спортом не знакомый, – никак не мог поверить в поражение...

Промашка богов

Я не знал, как пришел Игорь Павлов к стихотворению о Сизифе – неисповедимы пути поэтовы, – но он его написал и однажды прочитал мне. Это было давно – когда я жил в Одессе.

У меня на вопрос «Почему Сизиф?» есть два предположения, одно, может быть, вернее, второе – поэтическое, гротескное: общаясь с Игорем, я, ясно, подхватывал его образ мышления. Приведу здесь оба.

Итак, первое. Все одесситы, насколько я их знаю, народ особый. У них на все свое особое мнение. Некое недоверие (при будто бы согласных кивках) к говоримому собеседником и вслед за ним возражение («Вот вы сказали...» – или известное: «Я знаю...». «Но вот о чем я подумал...») – норма общения одессита. О недоверии ко всему на свете этого племени говорили Бабель и Багрицкий. Бабель – устами Бени Крика: «Все ошибаются, даже бог». Так мог сказать только одессит. Багрицкий: «Ну как, скажи, поверит в эту прочность («крыша, груб табурет, пол») еврейское неверие мое?».

Игорь не еврей, но он одессит, а Одесса дышит одним воздухом.

И вот Игорь не поверил в безвыходность положения Сизифа, и оказался прав. Он, исполненный здравого недоверия, поискал в прочной, как камень, ситуации Сизифа трещину – и нашел ее. Нашел промашку богов.

Но об этом позже. О промашке.

Теперь поэтическая версия.

Тут надо сказать об Игоре. Картина, которую я представляю, полностью входит в мое доказательство, в тему о Сизифе. Игорь жил в крохотной комнатухе напротив выхода с Привоза (в сторону Молдаванки), единственное окошко было прикрыто сверху верандой второго этажа, так что в комнате всегда было темно. Окно выходило на классический одесский дворик: в центре его стояла водопроводная колонка, за ней – вид на Привоз, толпящийся народом. Общественный сортир рядом с квартирой Игоря, справа; если выйдешь подышать свежим воздухом, услышишь, как там плещется вода. В сортир валит всяк с Привоза и просто с улицы.

В комнате – проваленный до пола диван и стол перед ним, освещаемый потолочной лампочкой с жестяным абажуром. На стенах холсты и листы ватмана, подаренные художниками, приятелями Игоря, и его собственные работы – «пробы пера». Стены и потолок давно-давно не белены, почти черны, но это мало волнует Игоря. В доме его часты гости – поэты, художники, некие новые люди, показавшиеся хозяину квартиры любопытными: банщик, пишущий стихи, милиционер, пишущий музыку на стихи банщика...

Стихи собравшихся за столом талантливы, необычны – как всегда необычны стихи андерграунда, – в них смелость и вызов подпольщиков, кукиш официальной поэзии, образы граничат с сумасшедшинкой, впрочем, именно сумасшедшинка, поэтические, скажем так, закидоны и признаются за этим столом. Кто хлеще сказанет – примерно так, – тот и пан...

Все гости Игоря бедны, иногда бездомны (снимают где-то угол), работают то там, то тут (Какая чепуха – работа! О ней ни слова!), одеты черт-те как, у девушек прическа чаще всего «я у мамы дурочка», модная в то время... но какие бриллиантовые строчки они произносят! Какую суть вещей – поэтическую – они здесь провозглашают!

...И сам я был не детище природы,
Но мысль ее,
Но зыбкий ум ее!

Хозяин темной комнаты олицетворял собой облик поэта: беззубый (откуда взять деньги на протезы?), пух на голове, слегка вытарашенные глаза, громкий актерский голос (он в поисках себя начинал актером в провинциальных театрах). В общем, облик поэта того времени, когда власть публиковала лишь проверенных стихотворцев, тех, что не выходили за рамки, разрешенные цензурой. В этот список Игорь не попадал ни под каким видом, и стихи писались не то что «в стол», ибо ящика у его стола не было, а «на стол», над которым и произносились.

...Все это была богема, сборище высокомерных нищих, гордых своей приближенностью к тому, за что богачи отваливают миллионы. Они и богачи были на расстоянии вытянутой руки от искусства. Может быть, даже ближе к нему; да, гораздо ближе, потому что они понимали его и сами кое-что для него делали... По этой причине в их глазах сиял, выражусь высокопарно, свет истины, с этим светом в глазах они и ходили по улицам. Они были приобщены к святой святых человеческого избранничества – творчеству, искусству, поэзии...

А вот жизненные сюжеты нашим героям не только не удавались, но и мешали. Они *отвлекали от главного!* Жизненные сюжеты были, как и у Екклесиаста, *суета*...

Ничто еще не говорит о Сизифе? О Сизифе с его каменной глыбой, которую он вкатывал и вкатывал на вершину горы, чтобы увидеть по завершении подвига и неземной свет, и то, как она вырывается из рук и летит вниз, высекая искры от столкновения с другими камнями и разбрызгивая осколки?

Игорь работал над стихами по ночам. Работал на износ, как это и бывает с поэтами, чей слух уловил звучание строки-струны; работал, то расхаживая по комнате, то бросаясь к столу, где перо и бумага, и спешно писал, то снова расхаживал, бормоча, время от времени вскрикивая либо ударяя вдруг кулаком в ладонь, когда находилось искомое слово или складывалась наконец-то строка... То, обессиленно поникнув, сидел, как бывает после максимального напряжения, принесшего удачу, но забравшего все силы...

И вот стихотворение закончено!

Всякий раз, когда Игорь велением богов вкатывал тяжкую глыбу стихотворения на вершину (извилины мозга тогда подходят на напрягшиеся мускулы, познавшие величину груза), он уже по опыту знал, что там, наверху, его ожидает удивительный свет, даже сияние, летящее над другими вершинами и озаряющее лицо поэта.

А проснувшись поздно утром – вершина, ночной подвиг, свет, сияние все еще не истаяли в сознании – и увидев свою комнату (стены, потолок), услышав разговоры, но, скорее, крики во дворе, голоса в сортире и плеск воды за стеной, вдруг остранным, как и привык, понимал, что... некий ночной камень опять скатился с горы, он последовал за ним и теперь находится в сыром и темном ущелье, откуда вчера и начал восхождение по крутому склону.

И еще понимал, что этой же ночью он снова упрется руками в каменную глыбу и начнет толкать ее вверх – чтобы выбраться из тесного ущелья к свету вершины...

И тут, наверно, замерцал, начал проситься в сознание Игоря образ Сизифа. Он «открыл ему дверь», взгляделся в него, так сказать, рассмотрел, покумекал, проникся сочувствием... и автоматом подверг одесскому недоверию его бедственное положение...

И увидел Промашку богов!

Сизиф, конечно, прохиндей, но и олимпийские боги, бравшиеся с людьми, распивавшие с ними нектары, любившие

их женщин, вникавшие в их полоумные распри и активно участвовавшие в их разборках – нам бы таких богов! – после всего этого они не могут быть всеведущи! Как и у людей, в их поступках должна просматриваться не-даль-но-вид-ность.

Конечно, я не помню стихотворения Игоря о Сизифе – так давно оно было мне прочитано. Но последнюю сценку и мысль поэта попытаюсь воссоздать. Прозой. Может, что-то и при-сочиню, столько лет прошло с того дня, когда оно было мне прочитано...

Скатываясь и скатываясь с каменистого склона, грохаясь о скалы, глыба Сизифа теряла кусок за куском, в ней стали появляться трещины, она становилась все меньше и меньше... и вот однажды Сизиф, спустившись вслед за ней к подножию горы, не нашел глыбы. Он стоял чуть ли не по колено в осколках, усыпавших за много лет подножие, но не мог разглядеть среди них, одинаковых, того, на котором были отпечатки его натруженных за долгое время пальцев, хранившего еще тепло его рук.

Но вот нашел один, придавивший свежую зеленую травину. Он поднял его, положил на ладонь, взвесил... Засмеялся... И неожиданно заплакал. Заплакал оттого, что не почувствовал больше в себе желания вкатывать наверх камень, понял, что силы на этот раз покинули его; понял, что кара богов исчерпала себя и, таким образом, порвалась его связь с ними, что сейчас он простой человек, на ладони которого лежит ни о чем не говорящий осколок серого камня.

Заплакал оттого еще, что понял: боги оставили его, отдалились, а ведь их кара и есть, если подумать, человеческое призвание...

Соавтор

Только переехав в другой город, и то через некоторое время, я взялся писать – взялся писать повесть, где все события происходили в сказочном городе на берегу Синего моря.

Честное слово, моим соавтором был город у синего моря, который я покинул!

Это было еще одно его интересное свойство – чтобы писать, вспоминая о нем, нужно взглядывать на него издалека. Город тогда волшебным образом приближается, нависает над тобой и даже шепчет на ухо: «А про это? А про это?..». И море, и улицы, и люди с их сиюминутными заботами, вечера, ночи – все мгновенно появляется перед глазами и почти без всяких усилий превращается в строчки.

Навсегда очарованный недавно покинутым городом, я писал сказку.

Привыкший к острой кухне – и кушаний, и слов – город требовал того же от моих страниц – необычности, странных героев. Потому-то и родились в повести-сказке мой новый сосед по имени Жером Покати, сомневающийся во всем Еслиб Дакабыб, портной у Самого Кум Каролю, носатый парень Все-Равно-Не-Бержерак, адвокат Данкешон, старый солдат Сей-Секунд, газетный репортер Торопыга, веселый рассказчик Буб Енчик, ставший моим другом, зловредная тетушка Глунеле, пудра на щеках которой лежала, как пыль на столе, а о ее тень всякий спотыкался...

Я думаю сейчас, через время, что именно город надиктовал мне всю повесть, которую я назвал «Страна недописанных сказок».

Впрочем, одному ли мне диктовал он, нависая над чьим-то плечом и подсказывая слова и строчки?

Люди, с которыми я встречался и дружил в покинутом мною городе, мало чем отличались от героев моей сказочной повести – того же Еслиба Дакабыба или Енчика. От них до моих знакомых был всего лишь один шаг. Чудом встретившись, они пожали бы друг другу руки и легко разговорились...

Нью-Йорк

Окончание следует

